



Ефим Аронович Гаммер – член правления Международного союза писателей Иерусалима, главный редактор литературного радиожурнала «Вечерний калейдоскоп» – радио «Голос Израиля», «РЭКА», член редколлегии израильских и российских журналов «Литературный Иерусалим», «ИСРАГЕО», «Приокские зори». Член израильских и международных союзов писателей, журналистов, художников – обладатель Гран-при и 13 медалей международных выставок в США, Франции, Австралии. Живёт в Иерусалиме. Родился 16 апреля 1945 года в Оренбурге

(Россия), закончил отделение журналистики ЛГУ в Риге, автор 28 книг стихов, прозы, очерков, эссе, лауреат ряда международных премий по литературе, журналистике и изобразительному искусству.

Ефим ГАММЕР

ЛУННЫЙ ПОРТРЕТ ГОГОЛЯ

Повесть ассоциаций

Только чрез Иерусалим желаю я возвратиться в Россию.

*Из письма Николая Васильевича Гоголя
Надежде Николаевне Шереметевой.
Январь 1843 года*

1

Изначально 1 апреля праздновалось в нашем подлунном мире как день весеннего равноденствия. Этот день был наполнен шутками, шалостями, прибаутками. А побудительной причиной для рождения розыгрышей послужили капризы природы, не скупящейся на довольно неожиданные перепады погоды: вместо тёплого дождичка подчас одаривала обвальным снегопадом.

В начале восемнадцатого века День смеха, или День дураков, как его нередко называли в России, добрался до Москвы. В 1703 году в белокаменной глашатаи призывали на улицах всех желающих сходить «за бесплатно» на «неслыханное представление». Почитателей Мельпомены набилось в театр как сельдей в бочку. Но когда распахнулся занавес, зрителям вместо языкастых артистов предстало бессловесное полотнище с надписью: «Первый апрель – никому не верь!»

Так в народе родилась предпосылка для сочинения знаменитого присловья «Бесплатных бутербродов не бывает». А у писателей новая тема для произведений.

Например, осенью 1825 года А. С. Пушкин писал в письме А. А. Дельвигу:

*Брови царь нахмура,
Говорил: «Вчера
Повалила буря
Памятник Петра».*

*Тот перепугался:
«Я не знал! Ужель?»
Царь расхохотался:
«Первый, брат, апрель!»*

Ох, «первый, брат, апрель!» Не соскучишься в день рождения Гоголя. Ни в России, ни в США, ни, тем более, в Израиле.

Итак...

Первого апреля, ровно в 00:21 в Гробнице праотцев – Махпеле появился странный свет, явно неземного происхождения. Он шёл наискосок от главного входа к внутреннему залу и остановился, колеблясь, у металлических дверей с табличкой «Иосиф».

– Началось! – вздохнул арабский зритель Мустафа, поспешно перебирая чётки на коленях.

Он сидел на сборной, с брезентовым покрытием табуретке: затылок прислонён к стене, чтобы охладить воспалённый мозг. И глазами – слева направо – указывал мне на продвижение туманного создания по коридору.

В поведении фантома прослеживалась какая-то осмысленность, напоминающая ту, которую мы замечаем у постоянных посетителей музея: зачастую они сразу же после сдачи в гардероб верхней одежды направляются к определенному экспонату, игнорируя менее для них привлекательные.

Так и это цветное пятно.

Не заглядывая в залы Авраама, Исаака, Иакова, оно приблизилось к металлическим дверям с табличкой «Иосиф» и, словно слепец, на ощупь прошлось лучистыми пальцами по выгравированным на меди буквам.

Зрелище вызывало оторопь.

Тут тебе явное нарушение внутреннего распорядка, но не потребуешь у нарушителя предъявить пропуск или откликнуться отзывом на пароль, да и оружием его не пугнуть.

«Стой! Стрелять буду!» – для него не несёт никакой угрожающей окраски. Ну и стреляй себе на здоровье! Кому от этого хуже будет? Световое пятно не поранишь – не убьёшь, а неприятностей от собственной инициативы получишь предостаточно. «За полночное громыханье затвором и порчу воздуха пороховыми газами в святом для трёх религий месте – наряд вне очереди, а то и полковая тюрьма!» Американская скорострельная винтовка М-16 лежала у меня на коленях, рядом с фонарём и репринтовой копией первого издания «Мёртвых душ». Поверху обложки, созданной по оригинальному рисунку автора, шло «Похождение Чичикова», ниже, самым крупным шрифтом: «ПОЭМА», ещё ниже, мелко: «Н. Гоголя», и завитушки-завитушки с множеством вкрапленных в орнамент черепов. Непроизвольно вспоминалось завещание Гоголя: «Тело моё не погребайте, пока не появятся явные признаки разложения».

Обморочное состояние души. Даже винтовка, и та не порывалась кинуться прикладом к плечу. Безмозглая, а ведь тоже с понятием. Не то что азиатская гадюка, водворённая моим напарником по дежурству Мустафой в прозрачную бутылку из-под кока-колы. Змея пришествие потустороннего духа как раз было по праву. Она вскидывалась на дне бутылки, пыталась выбраться наружу. Но запечатанное пробкой горлышко не пускало.

Мустафа приструнивал пресмыкающееся животное щелчком ногтя по стеклу. Это, прежде испытанное средство не помогало: гадюка разорялась пуще, билась, разъяв пасть, о прозрачную преграду. Складывалось впечатление, будто желала сказать нечто важное, доступное, по её просвещённому мнению, и таким недоделам, как мы.

По какой причине недоделам? По той, что ходим на двух ногах, когда правильнее ползать на брюхе. Ещё и по другой: едим каждый день, завтрак, обед, ужин и тщательно пережёвываем пищу, когда разумнее её заглатывать целиком и, забыв о добавке, переваривать на досуге неделю-другую.

Наблюдая за приятельницей-гадюкой, Мустафа воспринял себя толмачом. И минутой спустя приступил к переводу со змеино-го: то ли издевался надо мной, то ли доказательно демонстрировал превосходство арабских служителей Махпелы над еврейскими охранниками из Русского батальона.

– Она говорит...

– Кто?

– Змея!

– Почему – она?

– Потому что беременна.

– ?

– Она говорит: «Закройте глаза!»

– Я на службе.

– Она говорит: «Превращения не будет, если не закроете глаза».

– Какого превращения?

– Превращения! Какого – она не говорит.

– Сами увидите! – послышалось из бутылки, и на какое-то мгновение почудилось, что змея заговорщицки подмигнула мне.

Я протёр глаза: не заснул ли? Помигал себе в лицо походным фонариком, чтобы полностью очухаться. Русское присловье «солдат спит – служба идёт» в данный момент не по моему адресу.

Какой сон? Дрожь в коленках, озноб в костях. И дикое любопытство: не иначе как предстоит встреча с чужеродным разумом. Вот так, без подготовки, без предварительных инструкций. Бац, и ты в дамках – первопроходец! Прикрой зыркалки тёмными шторками, и быть тебе через мгновение свидетелем чудесного превращения. Чего? А вот это и предстоит разузнать.

– Процесс пошёл, – Мустафа толкнул меня локтем в бок, когда я клюнул носом, роняя голову на плечо.

Вздвогнув, я тотчас пришёл в себя и давай во всё зрение лупить глазелками по световому пятну. Однако... ни пятна, ни приметного следа от него. А у металлической двери в гробницу Иосифа, официального отца Иисуса Христа, стоит человек в поповском облачении – хламиде до пят, в усах и бородке, и крестится, крестится. Справа налево, по православному.

Кто такой? Почему не знаю? Да и как вошёл, если всё закрыто и везде солдатские патрули?

– Ваши документы? – автоматически произношу, поднимаясь следом за Мустафой с лавочки.

– Нема! – разводит руками молодой человек, и тут я примечаю: правая рука у него укороченная, вернее, отсечена по кисть, из рукава не виднеется, а висит подобием кобуры от «маузера» над левой коленкой, привязанная к поясному ремню верёвкой.

– Как зовут?

– Кличут Хома.

– Ого! О тебе сейчас пишут и пишут.

– Да ну?

– Без «ну»! На, взгляни, – я вытащил из-за пазухи еженедельник «Секрет». Прочёл отрывок из передовицы: – Противоракетная система «Хома», в переводе с иврита «Крепостная стена», более известна как «Хец-2», по-русски «Стрела-2», по-английски «Arrow-2». Так, что ли, по-газетному?

– Я по-гоголевски.
– Выходит, Гоголь иврит изучал.
– Шастал в Иерусалим – вот и изучал.
– А ты?
– И я в семинарии.
– Бурсак?
– Богослов.
– Отчего же выглядишь как дикарь?
– Вы о руке?
–носишь, как амулет...
– Извиняюсь за показ усечённой длани, но, посудите сами, мне без неё – никак. Она свидетельница.

– Чего?
– Неблагодарчивого моего поступка.
– Ага! – сказал Мустафа. – На том свете, значит, наши – арабские порядки.
– Божьи! – поправил его Хома.
– Вот и я говорю – Божьи, значит, наши, арабские, – удовлетворённо повторил Мустафа. – За воровство руку отрубают.

– И дьявольские, если вы об отсечении неблагодарчивой моей длани.
Я посмотрел на Хому, посмотрел на Мустафу, и оба они в длиннополых одеяниях – один в черном, второй в бежевом – показались чуть ли не братьями-близнецами: усатые, бородатые, не различающиеся по росту и комплекции, чего не скажешь о возрасте.

– Воровал? – начал я дознание. И поперхнулся. Дурацким показался мне собственный вопрос, за которым непременно последует дурацкий ответ. Какой?

– Не воровал я на том свете!
– А на этом? – спохватился я.
– На этом довелось.
– При жизни?
– После смерти не воруют.
– А наказывают?
– Ох, Господи! Нас и при жизни наказывали. Присловье наше бурсачье: «Кожа – наша, воля – ваша: розги казённые, люди наёмные – дерите, сколько хотите».

– Ну-ну! – погрозил я автоматом. – Мы тут без телесных извращений. Докладывай – чей будешь и зачем по ночам шастаешь?

– Возвеселится пьяница о склянице и упоает на неё.
– Юмор?
– Прокимен, глас девятый.
– Не понял.
– В оригинале: «Возвеселится праведник о Господе и упоает на Него».

– Понял.
Я вторично залез за пазуху и вытащил фляжку с коньяком.
– Благодарствую, – сказал Хома. – Выпьем за помин души раба Божия Николая сына Васильича, рождённого с полного согласия родителей именно сегодня, 1 апреля, в День смеха, но много лет назад, когда наша планета была ещё для веселия мало оборудована, и этот праздник именовался иначе – День дурака.

– Аминь и лехаим! – откликнулся я, чтобы притушить гневные искры в зрачках непьющего Мустафы, сына непьющего Исы, внука непьющего Мусы, потомка правоверного шейха Хевронского Ибрагима, откупившего у Ефрона Хеттеянина за четыреста сиклей серебра пещеру Махпела, где и похоронил жену свою Сайру...

В Библии (глава 23) он – Авраам, а жена его – Сарра.

Необходимо при этом ещё и напомнить, что Иса, отец Мустафы, назван в честь Исаака, а дед Муса – в память о Моисее, выведшем евреев из египетского плена.

Неисповедимы пути Господни!

2

Гробница библейских патриархов воздвигнута царём Иродом за четыре года до нашей эры. Из того же иерусалимского камня, что и Стена Плача. Ни износа ей, ни забвения.

Хеврон... Махпела... Вечность...

В зале Ицхака и Ривки (Исаака и Ревеки) – там, где молятся на коврах и голом полу арабы и евреи, – зацементированный лаз в подземелье. Над ним – жерлом допотопной пушки – медная труба. Встань перед ней на колени, лицом к высверленным отверстиям, и острым блеском костей мигнёт дно пещеры. Но если не повезёт в первую секунду, то сколько потом ни вглядывайся, не будет никакого вознаграждения утомлённым глазам – мгла, едва уловимое смещение контуров и затхлое дуновение древних пергаментов. Что это? Запах иссохшей человеческой плоти?

Смотритель Гробницы Мустафа говорит: это язык мёртвых. Мёртвые, поясняет мистически настроенный араб, разговаривают с живыми на языке запахов.

Но можно ли верить Мустафе?

Французским туристам он втолковывал: арабская нация самая древняя в мире, а учение Мухаммеда, пророка Аллаха, породило иудаизм и христианство.

Мустафа продаёт у входа в гробницу библейских патриархов и пророков, где – по преданию – нашли последнее земное прибежище также Адам и Ева, украшения из дешёвого белого металла. Подслеповатым его глазам они почему-то представляются серебряными изделиями из сокровищницы царя Давида... или Соломона... или Ирода... или Понтия Пилата – в зависимости от образовательного ценза и антикварных изысков экскурсантов.

Можно ли верить Мустафе?

Французский еврей Давид, переписчик Торы, приносит к центральным воротам гробницы книгу «Зоар» и читает стоящим на посту сорокалетним солдатам-резервистам – в Израиле их зовут «милуимники» – любопытный абзац о грядущем воскресении покойников.

«И восстанут из праха»... Поясняет: у каждого в затылочной части головы, у основания черепа, имеется некая косточка, которую даже мельничному жернову не перемолоть в муку. Вот из неё-то и произрастёт человек после смерти.

Бородатые резервисты – доктора наук, технари, журналисты – вспоминают о генной инженерии, стойкости костной ткани, антропологических портретах профессора Герасимова. К ним, источающим запасы эрудиции, активно жестикующим, присоединяется гладко выбритый усатенький патруль в составе таксиста, продавца фруктов с рынка Кармель и директора школы для трудновоспитуемых подростков. И генная инженерия подвергается сомнению. А антропологические портреты профессора Герасимова – осмеянию.

Можно ли верить Давиду?

Хеврон – один из четырёх святых городов Израиля. Здесь всегда жили евреи. Сегодня они живут неподалёку от Хеврона – в Кирьят-Арбе, за железными воротами, охраняемые солдатом.

Арабские дома сходят по кругу с горных уступов к Кирьят-Арбе, втискивают её в металлическое кольцо из заборов и колючей проволоки. Выйдешь за предел без оружия – нож в спину. Выйдешь с оружием – камень.

...Шестнадцатилетний юноша Йоси Твито вышел за предел очерченного круга. Тяжёлое ранение. Больница. Намеривался починить велосипед в Хевроне, теперь чинят его самого.

Через несколько дней студент религиозного училища Юваль Дерех, омывая собственной кровью мостовую, догрёб чуть ли не вслепую до армейского поста. Бородатый русский репатриант Гриша оказал ему первую помощь. Затем оттянул затвор скорострельной американской винтовки М-16. Прозвучали выстрелы. И над мечетями вспорхнули жирные голуби. Лениво шевельнули крыльями – и вновь под карниз, в тень, подалее от нарождающегося солнца, туда, где их пожирают змеи, охочие до белого голубиного мяса. Как змеи взбираются на немислимую верхотуру, нацеленную из средневековья в космос? Смотрители гробницы Адама и Евы, одетые в кремовую форму цвета иерусалимского камня, не говорят. Однако каждую пойманную гадюку запускают с лукавой улыбкой в бутылку из-под кока-колы и выставляют в общем зале, у своих вымытых перед молитвой ступней, на цветастом ковре, том ковре, на который не имеет права ступить ни одна еврейская нога. Солдаты внутреннего патруля оберегают их от евреев. И выслушивают оскорбления от ретивых ортодоксов.

– Прислужники арабов!

– Мы молимся – арабам путь открыт. Арабы молятся – нас гонят взащей.

– Почему евреям закрыт доступ в зал Ицхака и Ривки (Исаака и Ревеки), когда здесь молятся арабы?

– Где справедливость?

Справедливости нет. Есть устав и секретные распоряжения командования: не обострять религиозную нетерпимость! За счёт евреев, разумеется.

И устав, и секретные распоряжения известны всем – во всех подробностях. И нашим, и вашим – известны.

Туристам и поселенцам легче. Для них устав не писан. Их устав – расторопность, смекалка и инстинкт самосохранения.

Юваль Дерех, выйдя из синагоги «Авраам авину» – «Наш отец Авраам», засёк двух молодых арабов с ящиком, полным кур. Но не насторожился. Он шёл по улице, арабы за ним. В восьмидесяти метрах от него – армейский пост. Это знал он. Это знали и арабы. Нож извлечён из-под связки кур. И – бросок к Ювалю. Подлый удар сзади. Ещё удар. Юваль – за пистолет, что в открытой кобуре на боку. Но поздно. Рукоятка выскользнула из окровавленной ладони.

Ориентировка: совершенно нападение на студента религиозного училища. Ему нанесены ножевые ранения в спину, грудь, голову, руку. Террористами похищено личное его оружие – пистолет российского производства «Макаров». На поиски бандитов выделить всех свободных от караульной службы.

И звуки тревожной сирены накладываются на гнусавые завывания муэдзинов. А в казарме, шнурующей ботинки, натягивающей каски и бронежелеты, колобродят слова с англо-русским акцентом: «Хасам Касба! Хасам Касба!»

Касба по-арабски – центр города. Но из-за того, что кинут нас в центр арабского города, никому не легче. Безмятежная жизнь, если она и бывает у резервистов, видать по всему, закончена, пока не поймают террористов, не найдут пистолет Юваля Дереха.

– Хасам Касба, чтоб тебя!

И следом печальное: «Отпуска отменены!», трагикомическое: «А у меня коньяк во фляжке. Остался с ночи. Не выливать же! А как я проторчу целый день на солнцепёке без воды?»

Хеврон, когда не закапываться глубоко в историю, «знаменит» еврейским погромом 1929 года, вспыхнувшим тотчас, как главный муфтий Иерусалима

Аль-Хусейни, впоследствии друг Гитлера, заявил, что евреи хотят отобрать у арабов «мусульманскую святыню» – Стену Плача.

23 августа сразу же после пятничной молитвы арабы Хеврона вооружились палками и набросились на евреев, попадавших им по дороге. Затем направились в йешиву – религиозное училище, где застали всего одного ученика, и на месте растерзали его.

Представители еврейской общины обратились к английской администрации за помощью. Однако им посоветовали запереться и тихо сидеть дома.

Убедившись в том, что британские власти не окажут евреям никакой поддержки, арабы уже на следующий день, рано утром в субботу, двинулись к их домам.

Теперь их вооружение составляли не только палки и камни. В ход пошли ножи и сабли.

Налётчики никого не щадили. Зверски убито и смертельно ранено было 67 человек. Среди них и самые именитые горожане: директор банка Авраам Слоним, дававший погромщикам ссуды на выгодных условиях, аптекарь Бен-Цион Гершон, лечивший прежде своих убийц, их детей и престарелых родителей. Эти евреи, как и многие другие, в том числе изнасилованные девочки и женщины, были изрублены на куски.

Исторической справедливости ради следует отметить, что почти семьдесят мусульман из двадцатитысячного арабского населения города не поддались общей ненависти и вакханалии, они спасли от неминуемой гибели около трёхсот человек, укрыв их у себя дома.

Выжившие евреи – теперь глубокие старики. Их дома, окружающие Гробницу праотцев, ныне принадлежат арабам, тоже старикам, выгуливающим коз и баранов в городском парке, между Махпелой и синагогой, в ста метрах от священных залов, куда – босиком и вымыв ноги.

Залы пусты. Хеврон закрыт. Хасан Касба!

3

Через три минуты после первого глотка, вернее сказать, уже после третьего, Хома осторожно стал выяснять у меня, уважаю ли я его.

Понятно, я его уважил и протянул конфетку, положенную нам, солдатам-резервистам, в виде приварка к сухому пайку. Но оказалось, я не так понял вьедливого бурсака. «Уважение» крылось в напитке.

– Почему водку не держишь? Не уважаешь? А здесь русский дух. Здесь Русью пахнет.

– Здесь на постое Русский батальон. Из моего одноименного романа, – поправил я духарика. – И пахнет он сплошь и рядом еврейским духом.

– А вся Махпела – арабским, – добавил Мустафа.

– От вашего интернационала у меня уже голова кружится.

– Ну-ну, – придержал я его за локоть. – Не отваливай на тот свет, ты нам ещё и на этом пригодисься.

– Затем и пожаловал.

– Тогда развязывай язык, а то молчишь в тряпочку.

– Я молчу?

– А кто?

– Наливай!

Я протянул ему фляжку.

Протёр он губы о рукав хламиды и пригубил. Взасос, как молоденькую красавицу первой половой зрелости.

- Хорошо пошла? – спросил я.
- Хорошо. Кабы каждый день ходила.
- На каждый день не напасёшься. А сегодня...
- Что – сегодня?
- Сегодня День смеха, вот мы полночные меха и раздуваем. Дыхнуть?
- Дыхнёшь попозже. А сейчас растолкуй: какого смеха? Нашенского?

Сквозь слёзы?

- Какой получится.
- Ага, проговорился, но вслух не сказал...
- Что?
- А то, что твои предки именно так, смеха ради, мой народ в корчмах спаивали.

– Мои предки – жестянщики и кузнецы. Твоему народу в Одессе доспехи ковали, чтобы там, – показал на сердце, – или здесь, – показал на ширинку, – не поранили, – сделал выразительную паузу. – Либо вражьей стрелой, либо острым взглядом заморской панночки.

- Коньяк твой тоже из Одессы? – недоверчиво спросил Хома.
- Из Тель-Авива!

– В этом разе не касайся классики, не тобой писанной, нехристь! – запальчиво воскликнул Хома и тут же спрятал фляжку за спину, боясь, что отберу.

Но я не отобрал. Пожалел поддатого инвалида: в раю, небось, только приторный нектар выдают под расписку о стопроцентной трезвости.

Посмотрел на него, как пьёт, как чмокает от удовольствия принятия, и заинтересованно – не гипсовая ли? – коснулся отсечённой руки, свисающей у левого бедра вместо «маузера». Мёртвые пальцы живо сомкнулись в кулак, и моя кисть оказалась в капкане. Дёрг-дёрг – ни в какую! Я привязан к руке, рука к витому из верёвки пояску, поясок к бурсаку Хоме, а Хома к фляжке. Буль-буль – не отвяжется!

– Попался! – удовлетворённо сказал Мустафа. – Говорил же: «началось», а веры нет – так ходи теперь на привязи. Куда он – туда ты.

- А куда он?
- В тартарары. И тебя утянет.
- Брось дурака валять!
- В День дурака? – усмехнулся смотритель Гробницы.
- Высвободи!
- Это никак не получится.
- А если заплачу?
- Меньше, чем за полста шекелей...

– Выгребай! – приоткрыл я свободной рукой вход в карман воинских шаровар, не предполагая, что и его вовлеку в ловушку.

Сунулся Мустафа в мой карман и завис в нём: будто его там защёлкнуло. Ни взад, ни вперёд, сиди на месте и не кукарекай. Для ночи – слишком поздно, для утра – слишком рано, а вот для нечистой силы – самый срок.

– Теперь вы ко мне привязаны, – удовлетворённо сказал Хома. И зачмокал с характерным вкусовым звучанием, наполняя стосковавшееся по сорокаградусной начинке нутро.

- Я на службе! – дёрнулся Мустафа. И не выдернулся.
- И я! – доложил Хома. – Где ключи?
- Какие ключи?
- От входа.
- Ты уже вошёл.
- Открывай дверь и веди вниз.
- Посторонним запрещено!

– Я не посторонний, Мустафа! Я здесь уже был, с твоим дедушкой Мусой хаживал в подземелье.

– Так ты тот Хома из 1909 года?

– Хошь – потрогай, если зенкам не доверяешь.

– Дед о тебе сказывал. Череп российский, сказывал, привёз на хранение, дабы он жизненной энергией предка нашего Ибрагима подзарядился. Так это ты?

– Честь имею!

– А деньги?

– Какие деньги?

– За проводы по замогильному лабиринту!

– Сначала верните череп, потом и о деньгах потолкуем.

– Есть в наличии?

Хома поплескал фляжкой, и – странное дело – она откликнулась не ритмичным движением алкогольной жидкости, звоном монет откликнулась фляжка.

– Ба! – сказал Мустафа.

– Червонцы! – сказал Хома. – Открывай двери, дядя. Веди!

– А не обманешь?

– Не обману!

– Где гарантии?

Хома опять побренчал фляжкой и дал Мустафе одним глазом взглянуть на золотые надежды.

Мустафа взглянул. И уверовал.

Уверовал и дверь открыл. Затем нашарил потайной рычажок под напольной плиткой. Опустил его с усилием в приметный паз, и каменное надгробье повернулось на оси, открыв винтовую лестницу.

– Идём!

И мы пошли. Одной связкой. Как скалолазы. Но не на вершину Махпелы, а в её глубины. Впереди Хома, за ним я, следом Мустафа с прицепленной на кожаном ремешке бутылкой из-под кока-колы, где шипела от неудовольствия растревоженная змея-гадюка.

4

Майор Пини – сорок восемь израильских лет, пружинистая походка, ермолка на голове – вводит в раствор Касбы своё разношёрстное воинство, интернациональное по духу и внешности, еврейское по существу.

– Рассредоточиться по обе стороны улицы! Интервал три метра!

Рассредоточились со сноровкой. «Русский» в паре с «русским». «Грузин с грузином». «Индус с индусом». «Американец с американцем».

Мендель, инженер из Ташкента, ростом с двух Ициков, басит:

– В резервисты идут только русские и фраера.

– Точно! – подхватывает толстенный, многовёдерного объёма, аргентинец Ицик с ностальгически звучащей для нас фамилией Смирнов.

Бедолага много раз доказывал «русским», что он чистокровный еврей, потом не выдержал:

– Я внук водки Смирнофф – оф-оф!

И «русские» уважили Ицика, приняли за своего. В особенности расположился к нему друг мой сибирский Мишаня Гольдин из малоизвестного даже географам города Киренска, где я с ним и познакомился, когда работал в местной газете «Ленские зори». Мишаня тоже оказался однофамильцем водки, самой популярной среди русскоязычных солдат Израиля, – «Голд». Правда, Смирнов, в отличие от Гольдина, обманул наши ожидания – не брал ни грамма, стервец!

Религиозный старик Аарон Коэн, которому предписаниями иудаизма запрещено входить в Гробницу предков, следовательно, и нести там караульную

службу, поспешает на чугунных ногах за «аргентинцем» Смирновым и готовит издевательскую для нашего уха фразу – нечто о виллах и «Вольво»: мол, не успели эти «русские» приехать в Израиль, как сразу приохотились к особнякам и дорогим иномаркам, покупаемым за полцены на льготных для репатриантов условиях. Не то что он и прочие первопроходцы, кровь проливающие за Святую землю на Шестидневной войне, и на войне Судного дня, и на войне в Ливане, и на всяк прочей войне, не счесть уже какой...

Но суровый инженер из Питера с не менее суровой немецкой фамилией Зелигер придерживает ветерана израильских войн, перенёвшего нелюбовь к русским танкам на эмигрантов из сталелитейного государства, где металла на душу населения больше, чем в Израиле булочек с маслом.

– Не нарушать дистанцию!

Мы запираем Касбу на живой ключ из солдатской плоти. Запираем от внешнего мира. Внешний мир для Хеврона – это Израиль и настырные журналисты. Я сам журналист. От меня не запирают ни Касбу, ни Хеврон. Я – вне конкуренции.

Касба закрыта. Патрули разбросаны по всем перекрёсткам.

Если не считать животы и седину, выглядим мы довольно браво. Каски с поднятым плексигласовым щитком, предназначенным защищать физиономию от метко пущенного из пращи камня. Бронежилеты. Американские винтовки М-16, показавшие убийственный класс во Вьетнаме. На стволе – насадка для стрельбы резиновыми пулями. На ремешке, у пояса, – гранаты со слезоточивым газом. Послюнил палец, и проверяешь направление ветра – на всякий случай. Убеждаешься, как в истории с бутербродом: ветер всегда в твою сторону. И выпячиваешь грудь: поостерегитесь, у меня, глядите, граната! Бесплезна граната. Нож при этом ветре надёжнее. А нож – у врага за пазухой, рядом с похищенным у Юваля Дереха пистолетом. Своей пули не слышишь. И ножа своего не заметишь. Носят нож – я о профессионалах – в рукаве, на резинке, как и мы в детстве, когда играли в казаков-разбойников. Дёрг кистью – и рукоятка в изгибе пальцев. Рывок руки и – наступает мгновение стремительного змеиного укуса.

За спиной – магазинчик, где режут кур со сноровкой. Ножичек там в правильных руках и пляшет, подлец, безостановочно. Только и слышишь «чик» да «чик», затем слабые вскрики птиц с перерезанным горлом и жадное до жизни трепыхание крыльев. Справа от тебя, метрах в ста, Мишаня Гольдин, слева, на том же удалении, Мендель Шварц. Сзади «резчик по живому горлышку» с неутомимым лезвием. Впереди... О господи, начинается!

Навстречу тебе, на твой автомат, прёт народ с покупками и желанием непременно прорваться через заслон. Детки напротив тебя собираются в кучку и делают вид, что играют в камешки. Минута-другая, и выясняется: все они живут тут, за углом, в соседнем доме. Каждому нужно позарез в свою квартиру, на кухню, в ванну либо туалет – покушать, попить, отдохнуть, пописать, покакать. А ты – негодяй! Пёс сторожевой! – встрял шлагбаумом поперёк их дороги к большой и малой нужде, к семейному счастью и утолению аппетита.

А дорога – шириной в один «Мерседес». Не развернёшься на ней, не объедешь. И по ней, продавливаясь меж замолкших домов, грядёт неприятность в виде серьёзно беременной женщины с сосунком на руках.

Поначалу прибегаешь к фантазии:

– Туда нельзя! Там... там сейчас заминировано!

Неприятность твоя молча отходит к товаркам, пребывающим ещё в девическом состоянии и посему не беременным. Товарки подзуживают подругу: «Чего терять тебе, курица? Ты уже беременна, значит, и карты в руки, хоть и заняты они сосунком».

И вновь с угрозой поднимается живот – как булыжник пролетариата.

А позади, в магазинчике, лезвие «вжиг-вжиг» и запоздалое кудахтанье, и пикантный – не для твоих ноздрей! тебе его сторониться надо! – запах свежей крови. Пусть куриной, но крови... живой крови, зажигающей звериные инстинкты

Поднимается живот, угрожающе поднимается. И шажки под ним мелкие, сторожкие, но ужасно скрипучие. Зачем только носят эти женщины в такую жару – поди, градусов тридцать – туфли на каблуках? Дырявят гудрон, портят обувь и – скрипят, скрипят...

А над туфлями – оскал, белки глаз и множество слов о младенце, который – именно в этот момент своей плакучей истории жизни – описался, обкакался, взопрел, окостенел, окосел, обмишурился, отоварился и вообще ненавидит с рождения всех вас, «олим хадшим ми Руссия» – новых репатриантов из России, понаехавших сюда от белых медведей, с Невских проспектов, Арбатов и Домских площадей.

А за туфлями – ещё туфли, ещё туфли, ещё... На таких же каблуках. На таких же скрипучих подошвах. Над ними – упрятанные в одежды ноги. Над ногами – упрятанные в одежды бедра, груди и лица. Но иной, не молочной упитанности. Не сопровождаемые младенцем. Девственные, по всей видимости.

И – говор, говор, говор.

И тут – творческое, спонтанное, питающее белых медведей на Невских проспектах... и на Арбатах, и на Домских площадях...

– Ани командос Руси ми Афганистан! – кричу, делая тут же, для самых сообразительных, подстрочный перевод на язык моей «Азбуки» и «Родной речи». – Я русский командос из Афганистана.

Русские из Афганистана для них – гяуры, что тоже требует перевода. А перевод в их понимании звучит приблизительно так: «иноверцы-христиане, резавшие мусульман без счета». Стоит арабу различить «Руси» в стыковке с «Афганистан», как он становится тише воды.

Беременная неприятность, услышав крики предостережения – «Ани командос руси ми Афганистан!» – уже не грозит вздутым животом, а товарки её подбирают юбки и по пыльной мостовой трусят к другому перекрёстку, оккупированному уже не русскими израильтянами, способными утихомирить и Соловья-разбойника, а восточными усатенькими побрательниками – с виду более толковыми.

Толковые побрательники, восточного вида и повадок – выходцы из Йемена, Алжира, Египта, Марроко – хоть и знают в большинстве своём арабский с детства, но с женщинами не заигрывают. Вдруг пустые слова – это оскорбление чести и нравственности девичьего сословия? Обвиноватят, потом доказывая трибуналу, что – ни сном, ни духом.

Поэтому толковые побрательники, без ссылки на Афганистан, используют наш приём:

– Ты понимаешь по-русски?

Женщины в закуток и давай лупить глазами по откормленным усатеньким мордам. «И эти оттуда?» Трудно мыслить, когда в мозгу стереотипы: русский – это голубые глаза, светлые волосы и в каждом кулаке по нокауту. А эти что-то непохожи. Но ведь говорят, говорят по-русски!

Толковые побрательники на резервистской службе время зря не теряли, шли в ногу с репатриацией евреев из бывшего Советского Союза, принесшей Израилю миллион жителей, а им, милуимникам, – на гражданке директорам школ, бизнесменам, владельцам ресторанов, лавочникам – новых друзей, учеников, работников, покупателей. Вот они и изучали язык Пушкина и

Бунина по первоисточнику, полагаясь на не вполне квалифицированных преподавателей. Поневоле набор освоенных у товарищей по оружию слов был довольно убог и запросто позволял схлопотать по роже даже при невинном флирте. «Ты меня уважаешь? Хочешь потрахаться?» – спрашивали они российскую женщину при первой встрече. До второй, как правило, не доходило. Но виноваты ли они? Нет, не будем о великих знатоках языка Пушкина и Бунина из Козлодойска, подшучивающих над соплеменниками из восточных стран, которым ныне явно не до флирта. Они прибегают сейчас к русскому лишь по одной причине, чтобы обескуражить – напугать толпу, сдерживать людское наводнение. Стрелять запрещено даже в воздух...

5

– Не обмишурься, не спотыкнись! – говорит Хома-путеуказчик, спускаясь по крутым ступенькам.

Я согласно киваю: споткнуться здесь убийственно – шею свернёшь, и еле поспеваю следом, двигаюсь бочком, цепко схваченный клешнями-пальцами его, казалось бы, отрубленной и посему мёртвой руки. Мустафа топает сзади, не имея возможности противостоять магнетической силе моего кармана с полусотней припрятанных шекелей.

Такая вытянутая полукругом компания уже далеко не то, что представляется при словах: «сообразим на троих». Однако «соображать» приходится. Иначе «сообразят» за твой счёт. Как это понимать? Да, впрямую и понимать. Летучие мыши – вампиры шмыгают над головой. Того и гляди, примут на посолок кровушки моей, сдобренной алкогольным градусом. Почему моей? Потому что у них тяга к спиртному. У кошки к валерьянке, у летучих мышей к чему покрепче. Не из головы взято, из научного журнала! А проверять гипотезы докторов и кандидатов в оные на собственной шкуре никакого, поверьте, интереса.

– Мустафа! – обращаюсь к напарнику. – Придумай что-то.

Смотритель Гробницы одарил меня хитроватым взглядом и начал несколько витиевато, но со значением:

– Мысль даётся один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за содеянное и его последствия.

Что-то знакомое послышалось в этих словах. Нечто подобное вбивали мне и насчёт жизни. «Прожить её надо так, чтобы не было мучительно...»

Пока что мне мучительно от предположений, что моя хмельная кровушка вот-вот помчится по жилам этих крылатых тварей-упырей.

Моя! И ничья другая!

Хома – вообще не жилец, без белых и красных кровяных шариков, сплошное недоразумение – этакое брожение испорченного дыханием воздуха.

Мустафа пусть и жилец, но кровь его словно святая водица – ни на грамм в ней милого ночным хищникам зелья.

А во мне... И не подсчитать, сколько этих граммов собралось под куполом мозга и дрожмя дрожат в страхе дремучем.

– Хома! – не полагаясь на Мустафу, воззвал я и к проводнику, видя, как летучая мышь примостилась на стволе моей скорострельной винтовки, висящей по-партизански поперёк груди, и облизывается в предвкушении славной попойки.

Хома оглянулся и нравоучительно произнёс:

– Гляжу я на тебя, чадо моё, и вспоминаю давнюю историю из моей босяцкой бурсы. Лишили нас в виде наказания вечернего чая. И что же мы сделали? Запротестовали на первой же литургии. Каким образом? Символическим.

Во время пения Символа Веры, который оканчивается словами – «чаю воскресения мёртвых и жизни будущего века», мы громко выдали – «чаю!» и затаили паузу. Спрашиваете, каков итог нашего святотатства? Отвечаю. Начальство мигом отменило наказание – во избежание, как сказано было в секретном реестре, дальнейших кошунственных выходов.

– А мне что прикажешь делать?

– Я не приказываю. Я напоминаю: желаешь улучшить представление о себе в чужих глазах, прикинься сначала идиотом.

– Проще, Хома!

– Проще только мощи и...

– Ну! Не тяни!

– Голь на выдумки хитра.

Мои выдумки – не шибко головастые. Но всё же – дети двадцатого века, внуки двадцать первого.

Я нажал кнопку электрического фонаря, прикрепленного к поясу, и ослепил гнусное воинство.

Кинулось оно во все свои перепончатые крылья прочь от света – туда в укромный закуток, в зыбучую темень, где ни пулей не достать, ни штыком.

«Пуля – дура, а штык – молодец» вспомнилось мне по неведомой причине.

При чём здесь пуля? При чём штык?

И пуля, и штык – что матерное слово: подтекста с воз и маленькую тележку, а полезных свойств на данный исторический момент – никаких! Неприменимы эти воинские атрибуты в нынешних условиях, приближенных к боевым. Точно так же, как сегодняшним днём, когда ловили террориста, похитившего пистолет Юваля Дереха.

6

Волнами вздымаются женские бюсты. Негодованием исходят дети. Будь тут съёмочная камера – крути на плёнку сюжет и продавай зарубежной телекомпании за большие деньги. Всё, до старательного детского визга, срепетировано, отлажено загодя невидимым режиссёром. Но камеры нет. И детишки плачут по инерции, сначала будто бы естественно, потом не совсем серьёзно, просто для баловства. Надо же плакать, когда рядом израильские солдаты. Впрочем, и без слёз их понять можно. На головах у пацанчиков подносы с питами и бейгале – своего рода хлебцами и крендельками. Их необходимо срочно распродать, иначе зачерствеют. Они продали бы свой товар и нам, но солдатам не рекомендуется покупать у них что-либо съестное. Отравят на раз, и случаи подобные – не пропагандистская выдумка. Вот детишки, не сторговавшись с нами, и плачут, слёзоиспусканием намекают на чёрствость наших сердец.

– Пропусти ребялёнка! – говорит Мишане Гольдину мой двоюродный брат Гриша Гросман: родился под бомбами в Одессе 1941 года, с шести лет осиротел – остался без мамы, умершей в Риге, и, наверное, потому, что сам наплакался, не выносит детского хныканья. – Пропусти ребялёнка! – говорит. – Настырный, душа болит.

А на подносе, под питами, у чумазого лицедея припрятан складной нож. Не им ли пырнули Юваля Дереха? Вынесет ребялёнок нож – доказывай затем, что не голубь клюнул нашего ешиботника.

– Пацанчик, назад, – произносит Мишаня. – Отдохни от слёз, съешь конфетку. И угости приятелей.

И бросает на поднос горсть сладких стекляшек в фантиках, пяток из тех, что мы получаем в пакете с «сухим пайком» наряду с консервами и галетами.

Детский хор, шмыгнув носом, приступает к плачу по потерянному ножу, к притворному, исключая две-три нотки, плачу. Камеры нет! Чего стараться? А нож забрали не навсегда. Закончится катавасия с розыском террориста – отдадут, как миленькие. Иначе суд, и плати в десятикратном размере за посягательство на личное имущество.

Женщины за их спинами – в голос. И уже не по-арабски, на чистом иврите шпарят:

– Твари безмозглые!

Это кому? Нам? Да, нам. Инженерам, журналистам, врачам, профессорам.

– Понаехали от белых медведей!

И это нам? Нам! Нам! Жителям Москвы, Ленинграда, Риги, Таллина, Киева, Минска.

– Своего же языка не знаете, сволочи!

Кому? Опять-таки нам, по паспорту стопроцентным евреям.

– Выучили бы хоть как-нибудь иврит, чтобы мы вас понимали.

– А то знаете всего два слова, и орёте – «Ацор!» да «Ахора!».

Машинально перевожу в уме: «Ацор!» – «Стой!», «Ахора!» – «Назад!»

Перевожу и беру на вооружение.

– Ацор! Ахора!

В ответ – ураганный ветер визгливых слов, и ни одной басовой струи.

Где вы, мужчины, тыкающие нас финягой в спину?

Где вы, молотобойцы-каменотесы, швыряющие бульжник на расстояние олимпийского норматива?

Мужчины неприметны в простреливаемом фарватере узких улочек. Увидят предостерегающе поднятую ладонь солдата – и ретируются к базару, кофейням, где вволю могут позлословить о властях неправедных, о держимордах израильских, скудоумных и малограмотных – языка собственных предков не выучили, а туда же, управлять, командовать на русский манер, будто здесь Москва, а не Хеврон.

Мужчины не ввязываются в спор. Лицом к лицу – это для них опасная затея. Сзади, исподтишка, иной коленкор.

Вспоминаю Ахмеда, моего давнего, 1981 года, соученика по школе иврита «Акива», что в Натании, государственного служащего из Хеврона.

– Хороший ты парень, весёлый, – говорил мне Ахмед в нашем студенческом кафе, видя, как я угощаюсь коньяком с кофейком. Магометянин непьющий, он по наивности думал: «пьяный, друг ты наш, Руси, ничего не упомнишь». Вот и чувствовал себя раскованным, не держал язык за зубами: «Свой ты человек, что говорить! Но учти, появившись у нас в Хевроне в военной форме – лично я всажу тебе нож в спину».

Без угрозы сказал, с доброй улыбкой. И соседи по столику, арабы из Шхема-Наблуса, Рамаллы, Дженина подтвердили кивками: точно! каждый из нас зарежет – по дружбе, из любви к тебе, ближнему.

Почему – в спину? Почему – сзади?

До сих пор не знаю. Но догадываюсь. И потому предпочитаю не показывать спину – никому.

Аарон Гросс – студент Хевронской йешивы, религиозного училища – не выполнил этого правила, и теперь лежит на кладбище. Его зарезали здесь, на местном базаре, в трехстах шагах от того места, где я сейчас нахожусь.

Совсем недавно, в годовщину со дня убийства, я стоял на крыше его йешивы, напротив Махпелы, охранял ребат из религиозного училища. Внизу, на первом этаже, при входе – плакат, на нем фотография Аарона в траурной рамочке.

Пейсатые мальчишки с автоматами «узи» через плечо приходят сюда каждое утро – учить Тору. И учат её ежедневно до двух-трех часов ночи. Я не

оговорился, до двух-трех часов ночи. Иногда поднимаются к нам, солдатам, приносят булочки, кофе в термосе. Здесь, на крыше, откармливают в клетках почтовых голубей. Вдруг – неожиданное нападение? Вдруг – погром, такой как случился в 1929 году? «Голубь – это надёжнее телефона и даже рации, – говорят мне доверительно. – Вынесет весточку, вызовет подмогу».

Наивно? Не мне судить.

А много ли в их сердцах ненависти? – ведь то и дела проходят мимо траурного портрета Аарона Гросса.

О мести не говорят. Но как-то странно цедят: «Убийца Гросса бродит по городу. Выпустили досрочно, в обмен на хорошее поведение...»

Долго ли ему ещё ходить?

Пожимают плечами.

– Его уже видели...

Ешиботники – худые, очкастые, с редкими бородками – сажают на время занятий, как голубей в клетку, автоматы свои в оружейные ящики или, как сторожевых псов, на цепь, прикреплённую к лестничным перилам. А возвращаясь по ночам в Хевронское общежитие или домой в Кирьят-Арбу, держат их дулом вперёд и идут настороже, готовые в любой момент отразить атаку.

7

Здравствуйтесь – приехали! Прямым в 1 апреля, в День смеха, или – кому ближе по юморному нутру – в День дурака. Помните? «Первое апреля – никому не верю!» А тут передо мной чёрт те знает что творится, и – верь не верь, а иного зрелища, кроме невероятного, не предвидится.

Однорукий Хома, животворное привидение в рясе.

Мустафа в длиннополом бежевом платье со змеей в бутылке.

И я, «приклеенный» к своим проводникам в глубинном подземелье.

Чем не фантастика? Но ведь, шутки по боку, это явная реальность! И думай – или о кошмариках жизни потусторонней, или о дикой иронии жизни земной. Вдруг выищешь причину неожиданных приключений.

Первоапрельская шутка? Розыгрыш?

Вроде бы ни то ни другое. Ведь никак моё путешествие в тартарары не связано с Францией. Почему – с Францией? Нет, не из-за помутнения мозгов. А по той уважительной причине, что традиция розыгрышей в День смеха возникла в Париже.

Когда?

В 1564 году.

Почему?

В связи с тем, что родное правительство перенесло начало года с 1 апреля на 1 января. И простые граждане, не получив в этот день ежегодных подарков, почувствовали себя обманутыми и стали называть его Днём дурака.

Кстати, о дураках.

Самый эффектный розыгрыш запустила в эфир телекомпания Би-Би-Си. 1 апреля 1957 года невозмутимый английский диктор поведал телезрителям, что на полях Швейцарии собран рекордный урожай макарон. И включил картинку: на фоне сельскохозяйственных машин крестьяне собирали макароны. «Все одинаковой длины, – комментировал диктор, – что, несомненно, является следствием многолетних экспериментов селекционеров».

Удивительно, но обман чистой воды был принят за столь же чистую монету. И в редакцию посыпались письма с просьбой прислать рассаду новой агрокультуры, чтобы впоследствии вырастить её у себя в огороде.

Словом, все повеселились. Не мне чета. Мне в День дурака не до веселья. Я и впрямь воспринимал себя в этот день не слишком умным человеком, вернее даже не человеком, а подобием его: руки-ноги есть в наличии, голова на месте, но в мозгах – каша, а в глазах нечто такое, что только показывать под рубрикой «нарочно не придумаешь».

Как известно – в огороде бузина, а в Киеве дядька. Ещё про Киев известно, что язык до него доведёт. А тут, при свете фонарика, в царстве напуганных теней и зловещих шорохов, говори – не говори, язык не доведёт, а подведёт. И подвёл, стервец!

Только я сказал Мустафе на иврите: «не толкай меня в спину, упаду», как послышалось негодующее: «вай-вай!», и калёная стрела махнула мимо уха, вонзилась в расщелину между камней.

«Кто бы это мог быть?» – подумал я, вытащил стрелу из стены: как-никак подобие ножа: из автомата стрелять – это весь наш Русский батальон поднять по тревоге, да и под трибунал угодить, чтобы не лазил, куда неповадно.

– Кто? – повернул голову к Мустафе.

– Расхитители гробниц! – ответил он по-арабски.

– Как?

– Так! Были бы гробницы, а грабители сами появятся. Здесь они никогда и не переводились.

– Что будем делать?

– Говорить по-арабски, иначе отрежут уши, если примут за чужаков.

– Конкурентов?

– Им виднее.

– А нам?

– Когда им будет виднее, нам уже видеть вообще не придётся. Так что молчи и господину попу русскому передай, чтобы не гукал как с того света, пока не разрешат. Говорить буду я.

– Излагай, – кивнул я согласно, наблюдая за укутанным в белый саван охотником на человека. Он поджидал нас у основания винтовой лестницы, держа наизготовку лук с натянутой тетивой.

– Чьи будете? – спросил на малознакомом языке древних аборигенов.

– Потомки Хевронского шейха Ибрагима, откупившего эту пещеру у Ефрона Хеттеянина за четыреста сиклей серебра, – сказал Мустафа, будто выдал пароль.

– Брат! – повеселел грабитель.

– От брата и слышу! – порадовал его откликом Мустафа.

– Тогда поговорим. Я шейх Дауд. А ты кто?

– Мустафа, потомственный смотритель Гробницы патриархов.

– Кому служишь, Мустафа?

– «Я не поклоняюсь тому, чему поклоняешься ты. А ты не должен поклоняться тому, чему поклоняюсь я».

– Коран?

– Да, так написано в Коране о веротерпимости.

– Верую и принимаю. Зачем пожаловал?

– Этот иноверец православного племени привёл, ему и ведомо, – указал Мустафа на Хому.

– Отрубим неверному голову и украсим наш шатёр, чтобы не водил людей, куда не повадно.

– Преждевременное решение, уважаемый шейх Дауд! Сначала выслушаем, потом отрубим.

– Пусть раскроет рот и говорит! – повелел расхититель гробниц.

И что странно, для понимания его слов уже никаких переводчиков не требовалось. Не требовались они, что не менее странно, и ему самому.

Хома открыл рот и давай красноречить на русском, но мне почему-то всё слышалось на иврите, Мустафе на арабском, а таинственному хозяину подземелья на арамейском.

– Господа мои разлюбезные! Повелители жизни и смерти людской! Я ниспослан к вам из потусторонних миров, влекомый искуплением собственных грехов. По велению свыше надлежит мне изыскать нетленный череп, доставленный сюда на побывку мною же, живым и невредимым, в далёком по меркам земным 1909 году. И вернуть его туловищу, дабы накопленная здесь целительная энергия жизни Авраама – Исаака – Иакова вошла в него и возродила заново.

– Чей череп?

– Гоголя.

– Отличительные знаки?

– Нос.

– Какой у черепа нос?

– А треугольник от большого носа? Чай, и он не маленький.

– Понятно. Чем платить будешь?

– Этим! – потряс Хома моей фляжкой, превратившей волшебным образом плеск алкогольного напитка в золотой звон.

– Деньги вперёд! – сказал охотник на человека.

Хома прихватил зубами колпачок фляжки, отвинтил её. И к моему удивлению, золотые монеты, стуча по ступенькам, скатились к его ногам.

– Червонцы! – ахнул я.

– Червонцы-червонцы! – откликнулось эхо, и руки, не лишние при поиске денег, обогатились в считанные мгновения.

Обалдеть можно, насколько реалии жизни превосходят самые изощренные фантазии!

8

В Хевроне часто слышатся выстрелы, взрывы гранат. Особенно в том районе, где обосновался раввин Левингер, вечный нарушитель спокойствия. Однажды ночью неподалёку от синагоги «Авраам Авину» раздался взрыв. Спираль дыма поднялась в воздух. Пока я по вертушке докладывал майору Пини о ситуации, дым добрался до моей наблюдательной башни, самой высокой в Хевроне, выросшей на крепостной стене гробницы библейских патриархов. И запершило пороховой гарью в носу, и заслезились глаза. Хорошо, что дым был разряжен. Так что я проморгался минут за двадцать.

А здесь, в низине, в Касбе, дым поустойчивей, да и ветер не в нашу пользу. Здесь на гранаты рассчитывать не приходится – сам не продохнёшься. Здесь – до камнепада – следует на голос давить, на «Ацор!» да «Ахора!»

– Ацор! Стой!

– Я тут живу в соседнем доме.

– Ахора! Назад!

– Мне обед готовить. Мужу и детям.

– А сколько жён у твоего мужа? – спрашиваю на иврите.

– Четыре.

– Другие ему обед сготовят, – отвечаю по-русски. – А ты, голубушка, назад! Вдруг у тебя под юбкой пистолет Юваля припрятан. Я тебе не Рентген чтобы видеть твою натуру насквозь. Найдём пистолет, всех пропустим. А сейчас – «ахора!»

– Чтoб тебя, говори на понятном языке!

А это кто? Это уже мужчина, первый за день. И выглядит – не чета соплеменникам в кремовых балахонах. В костюме, даже с галстуком. Ни дать ни взять, адвокат местного разлива. Сейчас начнёт тяжбу. Только поспевай слова подбирать на иврите, не угонишься за ним. Но... О чудо! Он русским владеет. И совсем неплохо. Ну да, многие из них учились у нас... Тьфу! Теперь – не у нас! Теперь – в Советском Союзе. Учились и выучились. Образование получили, русских жён приобрели. И выставляются, оккупантами нас обзывают, хотя в пору Шестидневной войны мы все сообща гуляли по Невским проспектам, Арбатам, Домским площадям и, вполне возможно, учились в одних и тех же вузах, располагались по соседству в одних и тех же общежитиях.

А почему бы и нет?

Почему бы?

Да и лицо впечатляющее... И... если не ошибаюсь, знакомое. Усики. Шевелюра волной. Характерные мочки ушей.

Моя журналистская память так устроена, что человека, пусть даже случайно встреченного в трамвае, я узнаю и через десять-пятнадцать лет.

Спонтанное напряжение, и...

Ба! Да это же – несомненно – Басам!

Тот самый Басам, с кем мы повстречались в Москве, на квартире Ниночки, студентки Литературного института, после проводов сестры моей Сильвы в Израиль.

Было это в 1972 году. Было, да не сплыло. Хоть память и мхом поросла, однако мигом восстановила былое.

Небольшая московская квартирка. Бутылочка. Рюмки. Приятная компания. Я и Гриша Гросман, мой двоюродный брат, Нина, московская поэтесса, и Катя, артистка театра. Ни к чему не обзывающие разговоры. И вдруг – звонок в дверь. Гость в неурочное время?

«Кто?»

– Если это тот самый Басам, то я ухожу! – говорит Катя.

Явился тот самый Басам – палестинский поэт, присланный компартией Израиля учиться в Россию. На пару с ним и Ниной и пришлось смаковать рижский бальзам, не пропущенный таможей на Землю обетованную.

А Катя? Катя, не вдаваясь в разъяснения, сразу покинула вечеринку.

Помнится, незваный в гости Басам, оберегая доступ к Ниночке чужих людей из «маленького Парижа – Риги», улёгся на коврик, у порога в её спальню. И так провёл всю ночь, бдя! Пока не дождался нашего отъезда на такси в аэропорт.

Вот мы и повстречались, Басам. Здравствуй...

Но вслух я тебе на русском этого не скажу.

Вслух я тебе скажу нечто иное, и на иврите:

– Ацор! Ахора!

А ты мне?

И ты на иврите:

– Не пропускаешь арабскую женщину в родной дом!

Где же её родной дом, Басам? Ах, этот? А не потомственный ли это дом Ицхака Мизрахи, известного на весь Ближний Восток мудреца и толкователя Торы, растерзанного не иначе как предками милой твоей подзащитной женщины – погромщиками-мародёрами в 1929 году?

– Не понимаешь меня на иврите, послушай по-русски! – свирепеет Басам.

Нет, Басам! Здесь всё начинается и кончается для тебя на иврите – не трогай русскую речь!

– Ацор! Ахора! Ани командос руси ми Афганистан!

9

В шатре, при свете коптящих факелов, мужчины развлекали нас девушками, а девушки – танцем живота. Под ритмичные удары ладони по кожаному покрытию переносного барабана цветущие молодницы крутили бёдрами, выставляли пупок и закатывали глаза, будто испытывали блаженство.

Хома выразительно цокал языком и бренчал золотоносной фляжкой, придавая импульс вдохновения исполнителям балетного непотребства. Азиатские скво, оголившись до самого-самого, зазвонно выманивали нас на циновки, разбросанные по разные углы их вигвама.

А мы?

Мы связаны одной нитью – не разделиться нам, не выбрать себе подружку.

Положеньице – фирменное для Дня дурака, нарочно не придумаешь подобного издевательства!

Что остаётся?

Чинно внимать эротическому на все сто представлению, будто ты в Большом театре. И это в ситуации, когда и аплодировать даже нечем. Одной рукой по коленке, так что ли? Кисть моей правой руки в капкане из железных пальцев бурсака, рука Мустафы в моем кармане, словно приклеенная.

– Может, отцепишься? – сказал я Хоме по-русски.

– Трахаться захотелось?

– А тебе – что? Молиться?

– Дьяволицы! Из-за излишнего любопытства, дарованного свыше их женской натуры, изгнали человека из рая.

– Кем даровано, тем и обнаружено. Свидетелей нет. А тебя изгнали за воровство.

– Выдумки зачумленного сознания!

– Версия Мустафы. Разве забыл?

– Мели, Емеля!

– Освободи!

– Свободу просьбами не выкомаривают, – рассудительно вставил Хома и тут же вскрикнул, как змеей ужаленный. Но не от боли вскрикнул, от испуга. И схватил свободной рукой обрубок своей кисти, свисающий у пояса. Затряс им, смахивая на пол вцепившуюся в него змею, любимую тварь Мустафы. И ему, по всей вероятности, тоже захотелось близости с женщиной. Пусть и имеет четырёх жён дома, но ведь от бесплатной наложницы отказываться – это то же самое, что пройти мимо оазиса и не напиться.

Пока я занимал разговором православного священника, магометянин отвинтил колпачок бутылки от кока-колы, подпустил пресмыкающееся животное к отрубленной, висящей на витой верёвке руке, чтобы оно аккуратно цапнуло незваного гостя за пальцы, держащие меня капканом. Змея и цапнула – привычное дело!

Пальцы испуганно дёрнулись и разжались.

Рука, напитанная ядом, распухла и посинела.

Я высвободился.

Мустафа тоже. С облегчением вытащил он занемевшую руку из моего кармана, не позабыв прихватить пятьдесят шекелей, обещанных ему прежде.

Свобода! Как много в этом слове праздничного значения для уха русского... еврейского... арабского... Свобода!

Каждый побеждает в одиночку.

Каждый умирает в одиночку.

Но и по бабам тоже ходит в одиночку.

Не успели мы насладиться свободой, как попали в плен к нашим девицам.

И они, духовитые, обаятельные, растащили нас по циновкам. Во имя любви и продолжения рода себе подобных.

А мужчины? Те, что развлекали нас девушками и стучали по барабанам?

Они скромно удалились по своим грабительским делам – расхищать Гробницу, искать черепа образца 1909 года, пока мы предаёмся чарам восточных красавиц, уединившись за кисейной занавеской.

10

Вечером 31 марта, ближе к дремотной полуночи, чем к растревоженному броском в Касбу утру, я обнаружил сенсацию.

Где?

На небе.

Конкретнее?

На лике вечной спутницы Земли. Да-да, на Луне-матушке.

Сенсация была такого рода, что мне пришлось приложиться к фляжке с коньяком и сделать изрядный глоток, чтобы поверить своим глазам.

А дело обстояло так: находясь на самой высокой башне Махпелы, я изучал в бинокль лунный ландшафт.

Ни одного облачка. Тишь и благодать. Занимайся астрономическими исследованиями, авось и тебе доведётся сказать подобно Галилею: «И всё-таки она вертится!»

На авось и сказал, но нечто иное, не менее значительное.

– Ни дать ни взять, портрет Гоголя!

Ошарашенный, я произнёс эти слова вслух. И подозвал своего напарника Вилю Меняйлова – историка русской литературы в творческие минуты написания статей о классиках девятнадцатого века и охранника супермаркета в остальное рабочее время.

– Погляди! – протянул ему бинокль. И объяснил, что в правой стороне, меж песчаного моря и кратера недействующего вулкана, чётко видно лицо Гоголя, медально выбитое в профиль, будто сошло с титульного листа собрания сочинений.

И Виля увидел.

Длинный нос, волосы чуть ли не до плеч. И какая-то пронзительность взгляда.

Увидел и кивнул мне с пониманием важности момента.

Мы отпили ещё коньяка из моей фляжки, и опять поочерёдно прильнули к окулярам оптического прибора.

Моё зрение так устроено, что всегда и везде, в любом хитросплетении линий, я спонтанно изыщу некий, не каждым уловимый образ. Но тут, даже не прибегая к визуальной фантазии, чётко рисовалось: Гоголь собственной персоной пожаловал на вечную спутницу Земли.

– Зачем?

Виля пожал плечами:

– Наверное, так отмечают день рождения на том свете.

– Иди!

– Тогда... Тогда в знак напоминания о...

И тут мурашки, побежавшие по телу, лягнули меня со страху под дых. По их подсказке и прояснилось, почему на Луне представлена голова Гоголя. Не иначе как из-за того, что была украдена при перезахоронении в 1909 году.

Что же из всей этой мистической вакханалии вытанцовывается?

Да самое простое из приходящего на ум, не иначе как по согласованию с логикой потустороннего мира. Итак... Николай Васильевич, не имея в наличии аппарата для воспроизводства членораздельных звуков, напоминает образом

отъязтой от туловища головы о подлом воровстве и, может быть, выставяя её напоказ, требует возврата собственного имущества.

Поди разберись.

– По предположениям Владимира Германовича... – начал Виля.

– Кого?

– Лидина, который на самом деле Гомберг.

– Из Литинститута?

– Его самого! Я был у него в семинаре... Так вот, в 1931 году он, наш профессор, вместе с Катаевым присутствовал при вскрытии могилы Гоголя.

– Кстати, Виля, я читал, что Катаев прихватил с собой на кладбище ножницы и вырезал из полы гоголевского сюртука кусок ткани.

– Знаешь зачем?

– Догадываюсь. Чтобы пустить материю на переплёт «Мертвых душ», той книги из первого издания, что хранилась в его библиотеке.

– Лидин тоже получил кусок ткани для обложки.

– И это он вам рассказывал?

– Факт истории! Столь же неоспоримый, как и пропажа черепа Гоголя.

– Они и свистнули, наши письменники?

– За ними Сталин следил – не разгуляешься. А то и косточки растащили бы по своим коллекциям. Череп стырили раньше, ещё в 1909-м. Поговаривают, постарался один из монахов. Из тех, кто вскрывали тогда могилу.

– Имя известно?

– В анналах истории имеется намёк на некоего Хому, названного так в честь бурсака, что тягался с Виём.

– Иди проверь сегодня.

– Согласен, не проверишь. Да и в секрете всё это. Но доподлинно ведомо: стыбрили череп по наводке Алексея Бахрушина.

– Основателя Театрального музея?

– И мецената, каких поискать!

– Велика Россия, но отступать некуда...

– Не веришь?

– Пытаюсь...

– Тогда цитата из моей диссертации. Вот послушай, что пишет профессор Литинститута Лидин: «В Бахрушинском театральном музее в Москве имеются три неизвестно кому принадлежащие черепа: один из них, по предположению, – череп артиста Щепкина, другой – Гоголя, о третьем – ничего не известно».

– Это не доказательство, Виля.

– Что ж, продолжим. Ещё одна цитата из Лидина. «Перенесение праха Гоголя».

– Статья?

– Воспоминания.

– Хорошо. Выкладывай, чему тебя учили в Литинституте.

– В первоисточнике Лидиным сказано так:

«Могилу Гоголя вскрывали почти целый день. Она оказалась на значительно большей глубине, чем обычные захоронения. Начав её раскапывать, натолкнулись на кирпичный склеп необычайной прочности, но поперечном направлении с таким расчётом, чтобы раскопка приходилась на восток (то есть именно головой к востоку, по православному обряду, должен был быть предан земле покойник), и только к вечеру был обнаружен ещё боковой придел склепа, через который в основной склеп и был в своё время вдвинут гроб».

Работа по вскрытию склепа затянулась, и начинались уже сумерки, когда могила была, наконец, вскрыта. Верхние доски гроба прогнили, но боковые с сохранившейся фольгой, металлическими углами и ручками и частично уцелевшим голубовато-лиловым позументом, были целы. Вот что представлял собой прах Гоголя: черепа в гробу не оказалось, и останки Гоголя начинались с шейных позвонков: весь остов скелета был заключён в хорошо сохранившийся сюртук табачного цвета; под сюртуком уцелело даже бельё с костяными пуговицами.

...Я позволил себе взять кусок сюртука Гоголя, который впоследствии искусный переплётчик вделал в футляр первого издания “Мёртвых душ”; книга в футляре с этой реликвией находится в моей библиотеке».

11

Очнувшись от любовного беспамьятства, я обнаружил, что из моего автомата вынут рожок с патронами, и теперь я оказался столь же безоружным, как и мои спутники. Восточные сладости с азиатскими хитростями вперемежку. Но на хитрую задницу есть ключ с винтом. Этим ключом мог явиться патрон, что был в стволе. Один-разъединственный, но всё равно убойный, если я нажму на спусковой крючок. Но я не нажму. Я повременю. Разведаю обстановку и разузнаю, на каком свете нахожусь.

То, что я нахожусь не на нашем свете, это понятно и придурку: детка подземелья – моя несравненная Лайла – обладала не только округлыми формами, сочными, вишнёвого вкуса губами, глазами дикой серны, но и загорелым телом, что совершенно невероятно в пещерных джунглях, где самое место мокрицам и паукам. Но и этого мало. Она понимала меня без всякого напряжения, пусть я говорю на русском, иврите, даже латыни. Понимала и без всякого раскрытия моего рта – телепатически. Более того, и я понимал её, хотя не представлял себе, как звучание чужеродных слов складывается в моей голове в доступные восприятию фразы. Когда же напряг мозг, чтобы лучше разобраться в обстановке, извилина затесалась за извилину, поскольку кудесница Лайла опять увлекла меня на подушку и жаром груди и лобзаний затуманила моё сознание.

Что за чудо-картины исподволь в нём стали тут же прорисовываться! И караванные пути. И верблюды, поплёвывающие свысока на покатые дюны. И внезапно, словно миражи, всплывающие в жарком мареве оазисы с пальмами, благоуханными цветами и бассейнами, где резвятся восточные наяды соблазнительной внешности и доступности.

Тут меня и осенило, как это бывает в пророческих снах: я и впрямь в оазисе, но пещерном. Вспомним из Маяковского: «если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно».

Следовательно, исходя их стихотворной логики, можно предположить, что и подземные оазисы создают по той же безотлагательной причине – это кому-то очень даже нужно.

Кому?

Не моё дело!

Моё дело – пользоваться случаем и не роптать на судьбу, которая – отнюдь не злодейка, если ввела в объятия очаровательной феи.

12

Смотритель гробницы Мустафа поднялся к нам на вышку, привлечённый возгласами о появлении на поверхности Луны портрета Гоголя, который, при умелой подаче, можно за приличное вознаграждение выставить на аукционе Сотбис.

Взялся за бинокль. И что? А то! Увидел!

Это уже серьёзно! – осознали мы с Вилей. Это даже не какой-нибудь розыгрыш инопланетян, будто им накануне Дня дурака не терпится посмеяться над братьями-землянами, ищущими космических пришельцев.

Понятно, над русскими резервистами-милуимниками посмеяться легко: что ни привидится с пьяных глаз? Но над Мустафой не посмеёшься. Пьяных глаз у него не бывает. Никогда! А вот мысли... Мысли – это дело другое. Их не алкоголь питает, а гашиш.

– Это же скуп! – сказал Мустафа.

– Сенсация! – перевёл Виля Меняйлов.

– Мы позвоним в газету, – продолжал Мустафа, – и продадим скуп за десять тысяч баксов.

– Но прежде давай позвоним нашим командирам, вдруг это не скуп, а военная тайна, – предложил я, солдат двух армий, в прошлом – советской, ныне – израильской.

– Не звони! – предостерегающе поднял палец Мустафа, будто перед ним неразумный ребёнок, готовый прыгнуть с обрыва в холодную воду.

– Чего так, Мустафа?

– Украдут!

– Луну?

– Скуп украдут! Наши десять тысяч долларов! Пять моих и пять ваших – хеци-хеци.

– Хорошо считает, половина на половину, – усмехнулся Виля Меняйлов.

– Мои бабки всё равно на пропой нашей братии, – машинально среагировал я и по вертушке вызвал на вышку лейтенанта Андре, репатрианта из Франции с известной в литературных кругах фамилией Дюма. Ему будет любопытно взглянуть на конкурирующего с его предком классика, удостоенного посмертного изображения на лице вечной спутницы Земли.

Андре недоверчиво подкручивал окуляры, внимая моим наставлениям. Посмотрел на Луну. А она – яркая, солнечная: в первый момент фотовспышкой глаза обжигает.

Упреждая желание лейтенанта, я подышал ему в лицо, убедил – трезв, как небесный ангел. Андре убедился: всё без обмана, кругом свои люди. И опять приложился к биноклю. Приложился и увидел. Николая Васильевича увидел и он. Тут я потребовал вызвать на наш пост ещё и майора Пини, чтобы он потом не обиделся на нерадивых подчинённых, лишивших его заманчивого зрелища. Но религиозный майор Пини, как доложил по телефону дежурный по командному пункту старшина Ян Гальперин, умирался на вечерней молитве и пошёл спать с просьбой «не будить!».

– Но тут у нас на Луне обозначился Гоголь! – настаивал я.

– Гоголь-моголь! Пить меньше надо! – ответил израильский старшина с привычной русскому уху фамилией Гальперин.

– Автор «Мёртвых душ» и «Ревизора». Не веришь?

– Отчего же... Из-за его «Тараса Бульбы» меня в школе жидом Янкелем дразнили.

– Приходи – посмотришь.

– Солдат – спит, служба – идёт, – старшина намекнул на исцеляющее от галлюцинаций доступное средство.

– Гоголь! Никакого подвоха, моя гарантия! – подал голос Виля Меняйлов, полагающий, что его заверение, аспиранта и специалиста по русской литературе девятнадцатого века, упадёт, подобно оливковому зерну, на благодатную почву.

Но «почва» откликнулась скрипучим, как придорожная галька, смехом.

– Может быть, вам прислать рамааткаля?

– Начальника генерального штаба, – автоматически перевёл Виля и скептически хмыкнул: – Во все времена одно и тоже. Фантастический реализм обречён на непонимание. Вот поэтому Гоголь и сжёг второй том «Мёртвых душ».

– Сегодня доказывают, что не сжёг, – заметил я, вспомнив о прочитанной недавно статье.

– Сжёг – не сжёг... не там мозгу доишь. Давняя, ещё прижизненная проблема Гоголя в ином. Для евреев он антисемит, для русских – русофоб, для украинцев – перебежчик-кацап. А для всех вместе – гений словесности. Он же, чувствуя себя испачканным в нечистотах жизни, стремился в Иерусалим, чтобы у Гроба Господня, у Стены плача, в нашей Махпеле, где погребены библейские пророки, отмыться от грязи житейской. И вернуться в Россию очищенным, преображённым, с просветлённой душой. «Только чрез Иерусалим желаю я возвратиться в Россию», – писал он в январе 1843 года Надежде Николаевне Шереметевой. А ещё: «У Гроба Господня я был как будто затем, чтобы там на месте почувствовать, как много во мне холода сердечного, как много себялюбия и самолюбия».

13

Ближе к утру вернулись расхитители гробниц, согнали с нас прелестных созданий женского рода и выставили для идентификации три черепа, образца 1909 года.

– Деньги вперёд, – сказал Дауд.

Хома плеснул из моей фляжки монетами, и они покатались со скелетным звуком к ногам шейха. Моя прелестница Лайла побежала за ними, опередив Мустафу. Догнала, собрала в горсть и в одно касание, будто они на клею, разместила на груди себе подобных созданий – тех, кто скрашивал нам ночное бдение.

Обернулась ко мне:

– У пауков есть такой обычай: сначала самец нужен самке для спаривания, затем для еды.

Я тревожно осмотрелся. Где пауки? Нет пауков. Облегчённо вздохнул: «Лайла не иначе как поэсса. Прибегла к образному выражению». Но секунду спустя опять тревожно напрягся. Моя подземная фея надевала на шею шейху Дауду ожерелье из похищенных патронов, превращая древнего воина в современного дикаря. Я вспомнил: в стволе моей винтовки М-16 осталась последняя пуля. И с опаской подумал: неужто она для меня?

Тут первый раз прокричал петух. И мысли мои, никого не задев, разлетелись веером, как автоматная очередь.

– Не опоздайте! – предупредительно воскликнул шейх Дауд.

И Хома поспешил к черепам.

Ладонью отрубленной руки он провёл по заостренному лбу первого черепа, прочёл молитву, и... ничего не произошло.

А что должно было произойти? Я присмотрелся. Хома тычет обрубок кисти, распухшим от укуса гадюки, в рукав хламиды. И горестно взывает к небесному свидетелю своего действия:

– Не прирастает! Не прирастает, мать моя родина!

– Рука одна, а черепов – три, – благодушно констатирует Мустафа, пряча за щеку укатившийся в сторону золотой червонец. – Не трепещи, проказник, уворованное добро само к отсечённой длани прилипнет.

И он оказался прав. Третий череп, с разительной дырой над расщелиной рта, словно прилип к отсечённой длани Хома – не оторвать. Бурсак торопливо, как бы наперегонки со вторым криком петуха, сунул обрубок кисти в рукав. И – о чудо! – он встал на своё законное место, будто и не разлучался никогда с любимым телом.

– Нашёл!

Но дальше пошли немыслимые навороты. Обрубок кисти, соединившись со всем телесным организмом, незамедлительно передал ему порцию змеиного яда. И началось невообразимое. Хома распух, посинел, стал корчиться в конвульсиях. И с третьим криком петуха растворился в воздухе, так и не унеся череп. Он выскользнул из липкой ладони бурсака и глухо ударился о пол, рождая переливчатое, идущее волнами эхо.

Внезапно земля подо мной закачалась, точно вот-вот грядёт землетрясение.

Я нагнулся за оброненной Хомой фляжкой. Не пропадать же в расщелинах камня золотым червонцам.

Но какие червонцы, скажите на милость?

Фляжка снова доилась коньячным молочком из-под бешеной коровки, будто не претерпела никаких превращений в Клондайк. И я, должно быть от испуга, сделал изрядный глоток, чтобы как-то справиться с нервами.

Мустафа толкнул меня в спину.

– Не увлекайся! Уснёшь! А тебе ещё дежурить и дежурить со мной в Гробнице.

14

В 1290 году мощные сейсмические волны прокатились по этим местам. Гробница праотцев, балансируя на поверхности земли, всё же устояла, как и положено канатоходцу вечности. Крепостные стены почти не пострадали от землетрясения. Но каменная мозаика полов, возведённых искусными мастерами над пещерой необъятных размеров, пошла трещинами и рухнула в бездну, потревожив дремлющие кости.

Впервые со времён праотцев открылось человеку дно Махпелы, купленной Авраамом за четыреста сиклей серебра у Ефрона Хеттеянина для погребения Сарры. «После сего Авраам похоронил Сарру, жену свою, в пещере поля в Махпеле, против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской», – сказано в Библии.

Затем и он обрёл здесь вечный покой, и сын его Исаак, и сын его сына Иаков. И жены потомков его Ревека и Лия.

По мнению псевдомудрецов Торы из моего «Русского батальона», больше других из именитых покойников опять, как и при жизни, не повезло Иакову – создателю двенадцати колен израилевых. И после смерти он лёг к нелюбимой жене, к Лие. Любимую Рахиль погребли вдали от него, в Вифлееме – Бейт Лехеме, за южной оконечностью Иерусалима.

А потом началось паломничество мертвецов.

Усопшие первопроходцы неиссякаемого и жизнестойкого человеческого семени геологическими пластами накладывались на кости прочих паломников, памятуя, что с приходом Мессии им, вслед за предшественниками на Масличной горе, подниматься из тлена и снова вочеловечиться. «А над ними витал дух Адама и Евы, основоположников этого массового захоронения, – говорит смотритель Гробницы Мустафа. – Витал и указывал каждому на первоочерёдность возрождения».

Вскоре после землетрясения 1290 года местные умельцы настелили над пещерой новые полы. Более прочные, из тёсаного камня. И века

пошли их шлифовать – до вытертости зеркальной, пока не разразилась Шестидневная война.

Силой распрямлённой пружины кинуло израильские войска в Хеврон, к пещере Авраама, недоступной для обозрения в годы иорданского владычества. Евреев не пускали в Гробницу. Они не имели права подняться выше седьмой ступеньки у главного входа. И центральные ворота были для них закрыты. Внизу, в дальней части здания, у стены, на специально выделенном для «иноверцев» месте молились евреи. Зацементированная площадка размером пять на восемь метров: вот и всё их жизненное пространство, огрызок святого Аврамова надела. Сказано: «И стало поле Ефроново, которое при Махпеле, против Мамре, поле и пещера, которая при нём, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Аврамовым пред очами сынов Хетта, всех входящих во врата города его».

Шестидневная война наконец раскрыла перед евреями внутреннее убранство древней Гробницы. В зале Исаака и Ревеки (Ицхака и Ривки) глазам изумлённых солдат открылся лаз в пещеру. При свете свечей следили они за бегом фосфорных огоньков по белым костям скелетов, горам черепов, внимали удивительным речам аборигенов-аксакалов, утверждающих, что сюда для «пропитания духом возрождения из праха» тайно свозили останки людей, мечтающих подняться к новой жизни в одночасье с приходом Мессии. Подняться вместе с основателями трёх главенствующих в мире религий – иудаизма, христианства, мусульманства – Авраамом, Исааком, Иаковым.

Моше Даян, в кулуарах называемый начальником генерального штаба израильской археологии, первым спустился на дно древнего склепа. То, что он там увидел, так и осталось тайной за семью печатями. Но увидел нечто такое, непостижимое, должно быть, для ума современного человека, что тут же был отдан приказ: зацементировать лаз в подземелье, никого не пускать и... никого не выпускать.

Над входным отверстием поставили медную трубу с гвоздевыми дырочками. Обзора никакого, но смотреть не возбраняется.

Смотрите, люди добрые, авось, что и увидите.

Но вряд ли увидите то, что довелось видеть Моше Даяну.

И вряд ли осознаете то, что довелось осознать ему.

Что – конкретно?

Ответа не существует. Но слухами Святая земля полнится. Самый назойливый гласит: смерти для упокоенных в Махпеле нет. Они обживают подземные пространства, превращают их в оазисы и время от времени выходят на поверхность, бродят дозором по залам Авраама – Исаака – Иакова, пугая слабонервных и впечатлительных.

Вот и проторчи без коньячной подпитки ночь напролёт между духом Адама и Каина. В опасной близости от Евы, ещё не знакомой с десятью заповедями. Поблизости от Авраама, готового принести в жертву своего сына, и женой его Саррой, которая, согласно поверью, и в сто своих нержавеющих лет выглядела как семилетняя девочка.

Проторчи в такой компании – попробуй! Умом тронешься. Чёрт те знает что мерещиться будет. А тут ещё ночь на первое апреля, самое время для жутких, днём рождения Гоголя вызванных розыгрышей. И – на тебе, ровно в 00:21 – вспыхивает странный свет, явно неземного происхождения. Он идёт наискосок от главного входа к внутреннему залу, и останавливается, колеблясь, у металлических дверей с табличкой «Иосиф».

– Началось! – вздыхает арабский смотритель Мустафа, поспешно вынимая из-за щеки золотой червонец знакомой российской чеканки...